

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

СТИХИ О
ВОЙНЕ

Константин Михайлович Симонов

Стихи о войне

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=314582

Стихи о войне: Эксмо; Москва; 2010

ISBN 978-5-699-41394-2

Аннотация

«От Москвы до Бреста

Нет такого места,

Где бы ни скитались мы в пыли...»

Эти слова о военных корреспондентах в полной мере относятся и к их автору. «Военная тема», ставшая жизнью и судьбой Константина Симонова, вошла в его лирику не грохотом артиллерии, а пронзительной мелодией, мужественной и нежной. Его стихи о любви и верности, о доблести и трусости, о дружбе и предательстве – солдаты передавали друг другу, переписывали. Они помогали выжить.

«...Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой...»

Содержание

На пяти войнах	4
Из автобиографии	7
Перед войной	12
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Константин Симонов

Стихи о войне

На пяти войнах

Симонов писал стихи всю жизнь. Даже тогда, когда считалось, что он перестал их писать. Слово, оперенное созвучием, попадало в него остро и безошибочно и вызывало реакцию – со временем – фантомную, как боль отсеченной когда-то конечности, но долгую, как эхо, о котором он написал: «...эхо десять раз прогрехочет, но еще умирать не хочет, словно долгая жизнь людская все еще шумит затихая».

Он начинал как поэт, первую известность и первый свой орден получил как поэт, как «редакционный поэт «Героической красноармейской» поехал на первую свою войну на Халхин Гол, а всего шесть лет спустя, в конце большой войны взошел на пик своей известности, сопоставимой в истории русской поэзии только с популярностью Есенина в конце двадцатых и Евтушенко в начале шестидесятых.

Поэзия продолжала в нем жить и тогда, когда он перешел на военную прозу, то в переводах, то в записках-четверостишиях дочерям, трогательных, детских, но по-взрослому отделанных, то неожиданным для отвыкшего от симоновских стихов читателя поэтическим откликом на события. Поэзия,

бывшая делом жизни, становилась разновидностью личного дела, частью душевного мира, когда «...не пишется проза, не пишется. И словно забытые сны все рифмы какие-то слышатся, оттуда, из нашей войны», — как написал он в цикле стихов о поездке в воюющий Вьетнам. И на склоне жизни, в семидесятые, снова прорвалась мудрыми и сильными стихами уже не о войне, а о памяти о ней, еще не о смерти, но о предчувствии ее.

В этой, небольшой по объему, книге мы собрали лучшие из стихов, написанных Константином Симоновым за всю жизнь. Книга, следуя за биографией автора, разделена на три главные части: «Перед войной», «Война», «После войны». «Войну» мы разделили на военные стихи и лирику Симонова 1941–1954 годов, сохранив давно, еще в войну, придуманные автором названия «Из дневника» и «С тобой и без тебя», дополнив последний раздел более поздними по времени лирическими стихами.

Чтобы читатель лучше ориентировался в сюжетах симоновской поэзии, мы сочли полезным познакомить Вас с основными событиями его военной и послевоенной биографии. Полностью его биография опубликована в самом полном, двенадцатитомном собрании его сочинений, где поэзии посвящен только один том — первый и единственный, который он сам составил и успел подержать в руках незадолго до смерти.

Алексей Симонов

2010

Из автобиографии

Осенью 1938 года, закончив Литературный институт имени А.М. Горького, я поступил учиться в аспирантуру ИФЛИ. Летом 1939 года сдал первые три экзамена кандидатского минимума. В августе того же года, по предписанию Политуправления Красной Армии, уехал на Халхин-Гол, в Монголию, в качестве военного корреспондента газеты «Героическая красноармейская». Более к занятиям в ИФЛИ я уже не возвращался.

После Халхин-Гола, во время финской войны, закончил двухмесячные курсы военных корреспондентов при Академии имени Фрунзе. Но на фронт не попал – война уже кончилась.

24 июня 1941 года был призван из запаса и с предписанием Политуправления Красной Армии выехал для работы в газете «Боевое знамя» Третьей армии в район Гродно. В связи со сложившейся на фронте обстановкой до места назначения не добрался и был назначен в редакцию газеты Западного фронта «Красноармейская правда». Работал там до 20 июля 1941 года. Одновременно как нештатный корреспондент посылал военные корреспонденции в «Известия». С 20 июля 1941 года был переведен военным корреспондентом в «Красную звезду», где служил до осени 1946 года.

В 1941 году мне было присвоено звание старшего бата-

льонного комиссара. В 1943 году – звание подполковника, а после войны – полковника.

В 1942 году я был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а в 1945 году – двумя орденами Великой Отечественной войны первой степени, чехословацким Военным крестом и орденом Белого Льва. После войны, за участие в боях на Халхин-Голе, – монгольским орденом Сухэ-Батора.

За заслуги в области литературы награжден в 1939 году орденом «Знак Почета», в 1965 году – орденом Ленина, в 1971 году вторично орденом Ленина.

Большая часть моих корреспонденций, печатавшихся в годы войны в «Красной звезде», «Известиях» и «Правде», составила четыре книги «От Черного до Баренцева моря», книги «Югославская тетрадь» и «Письма из Чехословакии», многое осталось только в газетах. В годы войны я написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи» (1943–1944) и две книги стихов – «С тобой и без тебя» и «Война», а сразу после войны пьесу – «Под каштанами Праги».

Почти весь материал – для книг, написанных во время войны, и для большинства послевоенных – мне дала работа корреспондентом на фронте.

В связи с этим, пожалуй, стоит дать представление о том, как складывалась в годы войны география этой работы. По долгу службы я в разное время находился на следующих фронтах:

1941 год: июнь – июль – Западный фронт; август – сентябрь – Южный фронт, Приморская армия – Одесса, Особая Крымская армия – Крым, Черноморский флот; октябрь и ноябрь – Мурманское направление Карельского фронта, Северный флот; декабрь – Западный фронт.

1942 год: январь – Закавказский фронт (Новороссийск, Феодосия); январь – февраль – Западный фронт; февраль – март – Керченский полуостров; апрель – май – Мурманское направление Карельского фронта; июль – август – Брянский фронт, Западный фронт; август – сентябрь – Сталинградский фронт; ноябрь – Мурманское направление Карельского фронта; декабрь – Западный фронт.

1943 год: январь – февраль – март – Северокавказский и Южный фронты; апрель – Южный фронт; май – июнь – отпуск, полученный от редакции для написания «Дней и ночей». Жил эти месяцы в Алма-Ате и вчерне написал почти всю книгу. Июль – Курская дуга; август – октябрь – несколько поездок в армии Центрального фронта. Декабрь – корреспондент «Красной звезды» на Харьковском процессе над фашистами – организаторами массовых убийств населения.

1944 год: март – апрель – Первый и Второй Украинские фронты; май – Второй Украинский фронт; июнь – Ленинградский фронт, от начала прорыва линии Маннергейма до взятия Выборга; июль – август – Первый Белорусский фронт, Люблин, Майданек; август – сентябрь – в частях Второго и Третьего Украинских фронтов в период наступления от Ясс

до Бухареста, затем в Болгарии, Румынии и Югославии; октябрь – в Южной Сербии у югославских партизан. После освобождения Белграда – полет в Италию на нашу авиационную базу в Бари.

1945 год: январь – апрель – Четвертый Украинский фронт, Закарпатская Украина, Южная Польша, Словакия, в наших частях и частях Чехословацкого корпуса; конец апреля – Первый Украинский фронт, встреча с американцами в Торгау. Последние дни боев за Берлин – в частях Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов. Присутствовал при подписании капитуляции германской армии в Карлсхорсте. 10 мая был в Праге.

За период моей литературной деятельности мне было присуждено шесть Государственных премий СССР за пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди», «Русский вопрос», «Чужая тень», за книгу стихов «Друзья и враги» и повесть «Дни и ночи», а также Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых по кинематографии за фильм «Живые и мертвые».

В 1974 году мне было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а за трилогию «Живые и мертвые» присуждена Ленинская премия.

В 1977 году вышел из печати мой двухтомный дневник «Разные дни войны». Начало работы над этой книгой следует отнести к 1941 году, когда были сделаны первые из вошедших в нее записей.

Несколько последних лет помимо чисто литературной работы я занимался еще и кино – и теледокументалистикой. При моем участии были сделаны кинофильмы «Если дорог тебе твой дом...», «Гренада, Гренада, Гренада моя...», «Чужого горя не бывает», «Шел солдат...», «Маяковский делает выставку» и телевизионные фильмы «Солдатские мемуары», «Александр Твардовский», «Какая интересная личность».

Константин Симонов

1978

Перед войной

НОВОГОДНИЙ ТОСТ

Своей судьбе смотреть в глаза
надо
И слушать точки и тире
раций.
Как раз сейчас, за тыщу верст,
рядом,
За «Дранг нах Остен» – пиво пьют
наци.
Друзья, тревожиться сейчас
стоит,
Республика опять в кольце
волчьем.
Итак, поднимем этот тост
стоя
И выпьем нынче в первый раз
молча,
За тех, кому за пулемет
браться,
За тех, кому с винтовкой быть
дружным,
За всех, кто знает, что глагол

«драться» —

Глагол печальный, но порой
нужный.

За тех, кто вдруг, из тишины
комнат,

Пойдет в огонь, где он еще
не был.

За тех, кто тост мой через год
вспомнит

В чужой земле и под чужим
небом!

1937

СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ

Мужчине – на кой ему черт порошки,
Пилюли, микстуры, облатки.
От горя нас спальные лечат мешки,
Походные наши палатки.

С порога дорога идет на восток,
На север уходит другая,
Собачья упряжка, последний свисток —
Но где ж ты, моя дорогая?

Тут нету ее, нас не любит она.
Что ж делать, не плакать же, братцы!
Махни мне платочком хоть ты, старина, —
Так легче в дорогу собраться.

Как будто меня провожает жена,
Махни мне платочком из двери.
Но только усы свои сбрей, старина.
Не то я тебе не поверю.

С порога дорога идет на восток,
На север уходит другая,
Собачья упряжка, последний свисток.
Прощай же, моя дорогая!

1938–1939

Из поэмы «ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ»

О ТОМ, КАК ТАНКИ ИДУТ В АТАКУ

А пехоты и правда не было.
Она утопала в песках,
шла, захлебываясь пылью,
едва дыша.
Летчик, посланный на разведку,
впереди нее
в облаках
летел как оторванная от тела душа.
Он знал:
за десять минут отсюда уже начинался бой.
Проклятье!
Он мог
эти сутки для них
сделать за десять минут.
Если б можно
их всех
на канатах
потянуть вверх, за собой,
поднять,
перенести

и поставить
за сто верст,
там, где их ждут.
Он делал над их головами смертельные номера:
двойной разворот,
штопор,
двойной разворот.
И смертельно усталые люди снизу хрипло
кричали «ура».
Они понимали, что он им хочет помочь
скоротать переход.

— Что ж, придется одним. —
Майор потушил папиросу о клепку брони.
Комиссар дострочил на планшете
последнюю строчку жене.
Начальник штаба молча кивнул:
— Что ж, одни так одни, —
и посмотрел на багровое солнце, плывшее
в стороне.

Все посмотрели на солнце.
Открыв верхние люки
на всех,
сколько было,
танках,
сдвинув на лоб очки,
положив на поручни башен черные кожаные руки,
танкисты смотрели на солнце,

катившееся через пески.

Не всем им завтра встретить восход под этими облаками.

Майор поднялся на башню:

За Родину!

В бой!

Сигналист крест-накрест взмахнул флажками.

И стальные люки с грохотом захлопнулись над головой.

В броневом стекле вниз и вверх метались холмы.

Не было больше ни неба,

ни солнца,

только узкий кусок

земли, в которую надо стрелять,

только они

и мы.

Только мы

и они,

которых надо вдавить в этот песок.

— За Родину —

значит за наше право

раз и навсегда

быть равными перед жизнью и смертью,

если нужно — в этих песках.

За мою мать,

которая никогда

не будет плакать, прося за сына,

у чужеземца в ногах.

— За Родину —

значит за наши русские в липах и тополях города,
где ты бегал мальчишкой,
где, если ты стоишь того,
будет памятник твой.
За любимую женщину,
которая так горда,
что плюнет в лицо тебе, если ты трусом
вернешься домой.

Облитая бензином, кругом горела трава,
майор, задыхаясь от дыма, вытер глаза черным
платком,
крикнул:
— Вперед, за Родину!

Стрелок не расслышал слова,
но по губам угадал
и, стреляя,
повторил их беззвучным ртом.
Снаряд ворвался в самую башню.
На мгновение глухота,
как будто страшно ударили в ухо.
Стараясь содрать тишину,
майор провел по лицу ладонью.
Ладонь была залита,
стрелок привалился к его плечу,
как будто клонило ко сну.

Майор рванул рукоять.

Пулемет замолк.

Замок

у орудья разодран в куски.

Но танк еще шел!

Танк еще шел!

Танк еще мог...

Еще сквозь пробойну плыло небо

и летели пески.

И вдруг застрял

и опять рванулся страшным рывком.

— Денисов! —

Водитель молчал.

— Денисов! —

Молчал.

— Денис... —

Майор качнулся вправо и влево в обнимку

с мертвым стрелком

и, оторвав ослепшие пальцы,

пролез вниз.

Водитель

сидел, как всегда, — руки на рычагах.

Посмертным усилием воли он выжал передний ход.

Исполняя

его последнее

желанье,

в мертвых зрачках

земля, как при жизни, еще летела вперед.

Похоронный марш,
слава,
вечная память —
это все потом.

А пока на мокром от крови кресле тесно сидеть
вдвоем.

Майор отодвинул мертвого,
повернул лицом к броне
и, дотянувшись до рычагов,
прижался к его спине...

Семь танков уже горело.
Справа,
слева
и сзади
были воткнуты в небо столбы дыма.

Но согласно приказу
оставшиеся в живых
шли, не глядя,
шли мимо,
мимо праха товарищей,
мимо горящих могил,
недописанных писем,
не дожитых жизней.

Перед смертью каждый из них попросил
только горсть воды себе
и победы в бою отчизне.

Есть у танкистов команда:
«Делай, как я!»

Смерть не может прервать ее исполнения.
Заместитель умершего
повторяет:
— Делай, как я! —
Умирает,
и его заместитель
ведет батальон в наступление.
Экипаж твой убит.
Но еще далеко до отбоя.
и соседи не знают, что мертвым не прикажешь стрелять.

Если ты повернешь,
вдруг они повернут за тобою,
вечность,
тридцать секунд
потеряв, чтоб понять.
Да!
Но ты еще жив
И разодранный,
страшный,
молчащий,
танк майора прорвался к реке.
Да, пускай не стрелять.
Только б в землю их вмять,
только б чаще
догонять их машины.
Оставляя
за собой
скорлупу на песке.

Майор срывает флягу с ремня.
Воды больше нет.
Ну и черт с ней!
Он сжимает сожженный рот.
В эту минуту победы
больше нет
ни тебя,
ни меня,
ни жажды,
ни смерти,
ничего,
кроме – вперед!

О ВЕЧЕРЕ ПОСЛЕ БОЯ

Вечер.
Как далеко позади
это поле сраженья, и слезы
упоенья победой,
и последнего залпа дымок,
перевернутых пушек колеса,
бегство
тех, кто успел,
и могилы
тех, кто не смог.

Обломок ротной трубы, не успевшей подать сигнал,

бутылки из-под сакэ,
солдатские ложки,
рядом с телом хозяина вдавленный в землю журнал,
где на залитой кровью обложке,
как ни странно,
по-прежнему
нарисован храбрый отряд:
солдаты идут в атаку,
обгоняя друг друга,
поручик с рукой на перевязи
бежит впереди солдат,
как флаг, поднимая веер,
белый,
с багровым кругом.

После боя курили, сняв шлемы.
Над головой
был монгольский,
зеленый
с красным
и черным
закат.
Был короткий отдых.
И завтра опять бой,
как вчера,
и позавчера,
и месяц назад.

Но они говорили совсем не об этом.

Чего ради
повторять
то, что известно,
то, что опять начнется завтра с утра.
Они говорили о доме,
о маме,
о какой-то Наде,
говорили так, как будто они оттуда только вчера.

Нет, неправда,
к смерти привыкнуть нельзя.
Но это еще не значит
видеть ее во сне по ночам,
думать о ней, открывая утром глаза,
говорить о ней, поднося котелок к губам.
И когда солдаты,
которым завтра в бой,
говорят не о торжестве идей,
а, грустя, вспоминают о доме,
о матери,
о родных,
то это тревожит только маленьких чернильных
людей,
верящих громким словам,
но не верящих сердцу,
которого
нет у них самих.

Но командир роты,

который был с нами вчера в бою
и пойдет с нами завтра,
садится рядом,
и, греясь одним огнем,
слушает нашу жизнь,
и рассказывает свою,
и не боится вспомнить
милую женщину и опустевший дом.
Его не тревожит наша память о доме,
о любви,
об уюте комнат.
Если б не было этого,
где ж тогда наши сердца?
Из того,
кто ничего не любит
и ничего не помнит,
можно сделать самоубийцу,
но нельзя сделать бойца.
Я люблю землю в холодных рассветах,
в ночных огнях,
все места, в которых я еще никогда не жил.
Если б мне оторвало ноги,
я бы на костылях,
все равно,
обошел бы все, что решил.

Я люблю славу,
которая по праву приходит к нам.
С ночами без сна,

с усталостью до глухоты.
Равнодушную к именам,
жестокую по временам,
но приходящую неизменно,
если сам не изменишь ты.

Я люблю женщину,
которая стоит того,
чтоб задохнуться от счастья,
когда она со мной,
чтоб задохнуться от горя,
когда она оставляет меня одного,
чтоб не знать
ни позже
ни раньше
никого, кроме нее одной.
Но в минуту, когда
между жизнью для них
и смертью за них
выбирать
приходится только нам самим,
то, как ни бывает жаль умирать,
мы не уступаем этого права другим.

Если ты здоров и силен
и ты уступил это право,
ты не сможешь ходить по земле,
которую защищал другой;
слава,

трясаясь над которой ты струсил, —
уже не слава;
женщину,
за которую ты не дрался,
ты не смеешь называть дорогой.

Мы всосали эту жестокую правду с молоком
матери.

Мы все такие,
и этого у нас не отнять.
Мы умеем жертвовать жизнью
только одной
своей.

Но зато эту одну трудно у нас отобрать.

Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг,
которые мы прочли,
всех истин, которые нам сказали,
мы вспоминаем не всю землю,
а только клочок земли,
не всех людей,
а женщину на вокзале.

Но за этим,
ширясь,
не зная преград,
встает Родина,
сложенная из этих клочков земли,
встает народ,

составленный
из друзей, которые провожали нас, солдат,
плывут облака, под которыми мы росли.
А в бою есть только танки, идущие напролом.

Есть только красный флаг над желтым песком.
Что они не сметут,
то он подожжет.
Они дойдут до реки
и пройдут эту реку вброд,
и пески за рекой,
и горы, которые за песками,
и еще пески,
и еще горы,
и море, которое за горами,
они обогнут всю землю железной дугой,
они обойдут все страны
одну
за другой,
они обойдут их все,
ломая
жалкую бестолочь пограничных столбов,
и, почернев в походах,
они выйдут в другое столетье
на площади
неизвестных нам городов,
только там, наконец, они встанут на отдых.
Будет солнечный день.
Незнакомый нам завтрашний век.

Монументом из бронзы
на площадях
они встанут рядами.
Верхний люк
приподнимет бронзовый человек,
сигналист просигналит бронзовыми флажками,
и на всех,
сколько будет их,
танках,
открыв верхние люки,
подчиняясь приказу бронзового флажка,
положив на поручни башен бронзовые руки,
они будут смотреть на солнце,
катящееся через века.
Революция!
Наши дела озарены твоим светом,
мы готовы пожертвовать для тебя
жизнью,
домом,
теплом.
Встать!
когда говорят об этом,
ради чего мы живем
и, если надо,
умрем!

1939–1941

Монголия – Москва

Поэма «ОТЕЦ»

А. Г. И-ву

Все сердце у меня болит,
Что вдруг ты стал прихварывать,
Но мать об этом не велит
С тобою разговаривать.

Наверно, сам ты не велел,
А матери – поручено.
Пуд соли я с тобою съел,
Теперь уж все изучено.

Я раньше слишком зелен был,
Себе недотолковывал,
Как смолоду бы жизнь прожил,
Не будь тебя, такого вот —

Такого вот, сурового,
С «ноль-ноль», с солдатской выправкой,
Всегда идти готового
По жизни с полной выкладкой!

А вот как сорок с лишним лет
Вдали от вас исполнилось,
Невольно, хочешь или нет,

Вся жизнь с тобою вспомнилась,

С того начала самого,
В Рязани, на Садовой,
Где встретился ты с мамою
И я при ней – готовый.

Единственный и неродной...
И с первой стычки – в угол!
Теперь я знаю, что со мной
Тебе бывало туго.

Но взял меня ты в оборот,
В солдатскую закалку,
Как вотчим струсит, не возьмет,
Как лишь отцу не жалко.

Отцу, который наплюет
На оханья со сплетнями:
Что не жалеет, чуть не бьет
Ребенка пятилетнего,

Что был родной бы, так небось
Не муштровал бы эдак!
Все злому вотчиму пришлось
Слышать от дур-соседок!

Не знаю, может, золотым
То детство не окрестят,

Но лично я доволен им —
В нем было все на месте.

Я знал: презрение — за лень,
Я знал: за ложь — молчание,
Такое, что на третий день
Сознаешься с отчаянья.

Мальчишке мыть посуду — крест,
Пол драить — хуже нету!
Но не трудящийся не ест —
Уже я знал и это.

Знал, как в продскладе взять паек,
Положенный краскому,
Как вскинуть вещевой мешок
И дотащить до дому,

Как в речке выстирать белье
И как заправить койку,
Что хоть в казарму ставь ее —
Не отличишь нисколько!

Пожалуй, не всегда мой труд
Был нужен до зарезу,
Но ты, отец, как жизнь, был крут,
А жизнь — она железо;

Ее не лепят, а куют;

Хотя и осторожно —
Ей форму молотом дают,
Тогда она надежна.

Зато я знал в тринадцать лет:
Что сказано – отрезано,
Да – это да, нет – это нет,
И спорить бесполезно.

Знал смолоду: есть слово – долг.
Знал с детства: есть лишения.
Знал, где не струсишь – будет толк,
Где струсишь – нет прощения!

Знал: глаз подбитый – ерунда,
До свадьбы будет видеть.
Но те, кто ябеда, – беда,
Из тех солдат не выйдет.

А я хотел солдатом быть.
По улице рязанской
Я, все забыв, мог час пылить
За ротою курсантской.

Я помню: мать белье кладет...
– Ну как там, долго ты еще? —
В бой на Антонова идет
Пехотное училище.

Идет с оркестром на вокзал,
И мой отец – со всеми.
(Хотя отцом еще не звал
Тебя я в это время).

А после – осень, слезы жен,
Весь город глаз не сводит —
Ваш поредевший батальон
По улицам проходит.

И в наступившей тишине,
Под капли дождевые,
– Вон папа, – стиснув руку мне,
Мать говорит впервые.

– Вон папа! – Утренний развод.
Приезшему начальству
Отец мой рапорт отдает,
Прижавши к шлему пальцы.

– Вон папа! – С ротою идет,
И глаза не скосит он.
А рота – лучшая из рот,
Мишени все как сито!

Бегу к курилке во весь дух,
А там красноармейцы
Уже выкладывают вслух,
Что у кого имеется:

Что не дождешься похвалы,
Натрешь мозоль – не верит!
Что после стрельб подряд стволы
У всех аж глазом сверлит!

Гоняет в поле, в снег и в грязь,
Хоть сам и хлипкий с виду...
Стою и не дышу, боясь
Нарваться на обиду.

Но старшина, перекурив,
Подбить итог берется:
– Строг, верно, строг. Но справедлив,
Зазря не придерется.

Согласен я со старшиной:
С тобой и мне несладко!
Ты как с бойцами, так со мной,
Дня не проходит гладко!

Зато уж скажешь раз в году:
– Благодарю за службу! —
Я гордый, как солдат, иду,
Похвал других не нужно.

Солдатом быть – в твоих устах
Обширнее звучало,
Чем вера в воинский устав,

Как всех начал начало.

Не всем в казарме жизнь прожить,
Но твердость, точность, смелость,
Солдатом-человеком быть —
Вот что в виду имелось!

Чтоб на любом людском посту,
Пускай на самом штатском,
За нашу красную звезду
Стоять в строю солдатском!

Так в детстве понял я отца:
Солдат! Нет званья лучшего!
А остальное до конца
Уж на войне доучивал.

Ни страха в письмах, ни тоски,
За всю войну – ни слова,
Хотя вы с мамой старики
И сына нет второго.

Лишь гордая твоя строка
Из далека далекого:
Что хоть судьба и нелегка,
Солдат не ищет легкого!

Как часто я себя пытал
Войны годами длинными:

Отец лежал бы или встал
Сейчас, вот тут, под минами?

Отец пополз бы в батальон,
Чтоб все яснее ясного?
Иль на КП застрял бы он,
Поверив сводке на слово?

Как вспомню прошлую войну,
Все дни ее и ночи, —
Ее во всю ее длину
Со мной прошел мой вотчим.

.....

Скажу с собой наедине,
Что годы пролетают,
А мужества порою мне
И нынче не хватает.

Не скажешь вдруг ни «да», ни «нет».
Но сердце правду знает —
И там, где струсил, лег в кювет, —
Там душу грязь пятнает.

Нет хуже в памяти рубцов,
Чем робости отметины,
За каждую, в конце концов,
Быть самому в ответе мне.

Смешно, дожив до седины,

Поблажек ждать на юность.
И есть вина ли, нет вины —
Я с жалобой не сунусь.

А все же, как тогда, в войну, —
И, может, это к лучшему, —
Нет-нет и на отца взгляну:
Как он бы в этом случае?

Я вслух об этом не спрошу,
В дверь лишний раз не стукну,
Но вот сию сейчас, пишу
И помню неотступно,

Что свой дохаживает век
Походкою упрямой
Бесстрашный старый человек,
Невидимый судья мой;

Один из тех, на первый взгляд
Негордых и невзрачных,
Про жизнь которых говорят:
Вся, как слеза, прозрачна!

Он по бульвару в двух шагах
От вас прошел недавно,
Старик в фуражке, в сапогах
Потертых, но исправных.

В шинельке, что ни я, ни мать
Ни ласково, ни грубо
Ему не можем обменять
Десятый год на шубу.

Прошел, на лавочку присел
Со стопкой старых книжек,
Но вместо чтенья на прицел
Взял драку двух мальчишек.

И заревевшему мигнул,
Совсем как мне когда-то:
— Эк панихиду затянул!
А ведь пойдешь в солдаты...

Не обязательно войну
Старик имел в виду.
Быть может, просто целину,
Труд, подвиги, беду...

Но на чужого старика,
Сказавшего так грубо,
Мать плачущего паренька
Скривила злые губы!

Ее-то сын уж так ли, сяк
Минует лямку эту!
Способный мальчик, не дурак,
Других служить, что ль, нету?

Старик глядит глаза в глаза,
И женщина не сразу,
Но понимает, что нельзя
Сказать ей эту фразу;

Она под взглядом старика
Молчит на пользу сыну,
Уже унявшему пока
Свой рев наполовину.

Старик уходит. Он встает,
В ногах смиряя боль,
И на обед домой идет
К пятнадцати ноль-ноль.

Идет, упрямый и прямой,
Враг старости смиренной,
Злой вотчим! Добрый гений мой:
Пенсионер военный.

1956–1958

Вольные переводы из Р. Киплинга

ГИЕНЫ

Когда похоронный патруль уйдет
И коршуны улетят,
Приходит о мертвом взять отчет
Мудрых гиен отряд.

За что он умер и как он жил —
Это им все равно.
Добраться до мяса, костей и жил
Им надо, пока темно.

Война приготовила пир для них,
Где можно жрать без помех.
Из всех беззащитных тварей земных
Мертвец беззащитней всех.

Козел бодает, воняет тля,
Ребенок дает пинки.
Но бедный мертвый солдат короля
Не может поднять руки.

Гиены вонзают в песок клыки,
И чавкают, и рычат.
И вот уж солдатские башмаки
Навстречу луне торчат.

Вот он и вышел на свет, солдат, —
Ни друзей, никого.
Одни гиеньи глаза глядят
В пустые зрачки его.

Гиены и трусов и храбрецов
Жуют без лишних затей,
Но они не пятнают имен мертвецов:
Это — дело людей.



Серые глаза – рассвет,
Пароходная сирена,
Дождь, разлука, серый след
За винтом бегущей пены.

Черные глаза – жара,
В море сонных звезд скольжение,
И у борта до утра
Поцелуев отражение.

Синие глаза – луна,
Вальса белое молчанье,
Ежедневная стена
Неизбежного прощанья.

Карие глаза – песок,
Осень, волчья степь, охота,
Скачка, вся на волосок
От паденья и полета.

Нет, я не судья для них,
Просто без суждений вздорных
Я четырежды должник
Синих, серых, карих, черных,

Как четыре стороны
Одного того же света,
Я люблю – в том нет вины —
Все четыре этих цвета.

ДУРАК

Жил-был дурак. Он молился всерьез
(Впрочем, как Вы и Я)
Тряпкам, костям и пучку волос —
Все это пустою бабой звалось,
Но дурак ее звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).

О, года, что ушли в никуда, что ушли,
Головы и рук наших труд —
Все съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем – не умевшая знать),
Ни черта непонявшая тут.

Что дурак растранижил, всего и не счесть
(Впрочем, как Вы и Я) —
Будущность, веру, деньги и честь.
Но леди вдвое могла бы съесть,
А дурак – на то он дурак и есть
(Впрочем, как Вы и Я).

О, труды, что ушли, их плоды, что ушли,
И мечты, что вновь не придут, —
Все съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем – не умевшая знать),
Ни черта не понявшая тут.

Дураку его шкура мила была
(Впрочем, как Вам и Мне),
И, когда, его выпотрошив дотла,
Ему леди под зад коленкой дала,
Дурак не приставил к виску ствола
(Впрочем, как Вы и Я).

В этот раз не стыд его спас, не стыд,
Не упреки, которые жгут, —
Он просто узнал, что не знает она,
Что не знала она и что знать она
Ни черта не могла тут.

ЭПИТАФИИ

Политик

Я трудиться не сумел, грабить не посмел,
Я всю жизнь свою с трибуны лгал доверчивым
и юным,
Лгал – птенцам.
Встретив всех, кого убил, всех, кто мной
обманут был,
Я спрошу у них, у мертвых, – бьют ли на том

свете морду
Нам лжецам?

Эстет

Я отошел помочиться не там, где вся солдатня.
И снайпер в ту же секунду меня на тот свет
отправил.
Я думаю, вы не правы, высмеивая меня,
Умершего принципиально, не меняя своих правил.

Командир морского конвоя

Нет хуже работы – пасти дураков.
Бессмысленно храбрых – тем более.
Но я их довел до родных берегов
Своею посмертною волею.

Эпитафия канадцам

Все отдав, я не встану из праха,
Мне не надо ни слов, ни похвал.

Я не жил, умирая от страха,
Я, убив в себе страх, воевал.

Бывший клерк

Не плачьте! Армия дала
Свободу робкому рабу.
За шиворот приволокла
Из канцелярии в судьбу,
Где он, узнав, что значит смель,
Набрался храбрости – любить,
И полюбив – пошел на смерть,
И умер. К счастью, может быть.

Новичок

Они быстро на мне поставили крест,
В первый день, первой пулей в лоб.
Дети любят в театре вскакивать с мест.
Я забыл, что это – окоп.

Новобранец

Быстро, грубо и умело за короткий путь земной
И мой дух, и мое тело вымуштровала война.
Интересно, что способен сделать бог со мной
Сверх того, что уже сделал старшина?

Трус

Я не посмел на смерть взглянуть
в атаке среди бела дня,
И люди, завязав глаза,
к ней ночью отвели меня.

Ординарец

Я знал, что мне он подчинен и, чтоб
спасти меня – умрет.
Он умер, так и не узнав, что надо б все
наоборот!

Двое

А. – Я был богатым, как раджа.

Б. – А я был беден.

ВМЕСТЕ. – Но на тот свет без багажа

Мы оба едем.

Просьба

Заканчивая путь земной,

Всем сплетникам напомним я:

Так или иначе, со мной

Еще вы встретитесь, друзья!

Я вам оставлю столько книг,

Что после смерти обо мне

Не лучше ль спрашивать у них,

Чем лезть с вопросами к родне!

Из поэмы «ПАВЕЛ ЧЕРНЫЙ»

* * *

В начале тридцать второго в Карелию ехал
Черный —
Густо татуирован, жилист, немыт, небрит.
Ехал он из Одессы, с любимого Черного моря
На чортово Белое море. Чорт его побери!

Как раз в арестантском вагоне стукнул ему
тридцатый.
Стократно благополучно бежавшие от погонь,
Были с ним вместе взяты в доску свои ребята,
Прошедшие медные трубы, воду, водку, огонь.

Ехали долго и скучно: пять суток резались в карты;
Сто раз прошли через руки деньги, жратва, табак...
Вагон, как осенняя муха, полз по холодной карте,
И Черному показалось, что дело его – табак!

Если глядеть в окошко: камень, камень и камень,
Снег да кривые сосны, и кругом никого,
Если вцепиться в решетку да потрясти руками,
Услышишь запах железа и проклянешь его.

До теплой Одессы тыщи простуженных
километров.

А вор все равно, что птица, серенький соловей, —
Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
От холода и от клетки, от мыслей в своей голове.

Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
Нету у человека печки, тепла, угла?
Нету такого места, чтобы взял ты билеты,
Уехал — и никакая власть тебя не взяла.

Говорят, что у маминой юбки самое теплое место,
Что приятно со старым папкой в поддавки
постучать.

Говорят, человек как кошка, любит старое место,
Любит собственных шкетов на руках покачать.

Кто его знает? Ноги шли не на те пороги,
Не пробовал Черный этих приятных и тихих штук.
Выбрать ему не дали. А на любой дороге
У дырявых подметок одинаковый стук.

Как и других — родили, кинули в подворотню.
Дворник нашел под утро. Пошевелил носком.
Видит — живой мальчишка; выживет, будет
работник,

Скорей же всего подохнет. И сунул в сиротский
дом.

Сиротский дом трехэтажный. В стенах глаза и уши,

Если бывал – так знаешь. Не бывал – не поймешь!
Давал император трешку в год на живую душу.
«Смоешься – станешь вором. Не смоешься —
так помрешь».

И вышла такая привычка: загнут на любом из
следствий:

«Что же это вас толкнуло? Кто папа и мама вам?» —
Встанет Черный и скажет: «Очень приличное
детство,
Очень прекрасная мама, а воровал я сам!»

Наутро довез их поезд до самого края свету,
Ссадил и поехал дальше, куда-то в тартарары.
Взглянули на солнце – нету! Взглянули
на звезды – нету!
И нету на белом свете другой подобной дыры.

Кто-то сказал в молчанье: «Зовется город Сорока...»
И даже те, что успели приговор позабыть,
Тут при помощи пальцев вновь сочтя свои сроки,
Загрустили, что долго придется в Сороке быть.

Они прошли через город без песен и разговоров.
Никто не кидался к окнам, не выбегал встречать:
Мало ли на работу ведут через город воров —
К ним раз навсегда привыкли и бросили замечать.

А если и замечали, то говорили мельком:

«Снова ведут рабсилу...» И, уловив на слух,
Воры, сердясь, считали это название мелким,
Вставал на дыбы их гордый паразитарный дух.
Черный сказал с усмешкой: «Вот оно – Белое
море.

Если казенным сладким подавишься калачом,
Если засохнешь с горя, если тоска уморит,
Снегом тебя засыпет, и никто не при чем».

И повернули в поле. Вот бы сейчас самовара!
Хватить бы по два стакана, по третьему наливать.
Идут в шикарных пальтишках девчонки
с Тверского бульвара,
Их еще не успели переобмундировать.

Черный на них смеется, на моды их и фасоны.
Он бы за них копейки ломаной не отдал.
Но их манто и чулочки немного не по сезону.
А это удачный повод, чтоб учинить скандал.

Черный подходит фертom к заднему из конвойных
И задушевным тоном в ухо кричит ему:
«Скидывай полушубок, поносил – и довольно;
Девочкам пригодится, а тебе ни к чему!»

И конвоир внезапно смотрит в упор на вора,
И оба стоят, как рыбы, широко разинув рты.
Черному ясно видно, что это же Васька Ворон,
Одесский уркан. И разом они произносят: «Ты!»

Но тотчас же вспоминают каждый свое назначение,
И конвоир снимает руку с его плеча.
И Черный бьет его в ухо, отчасти для развлечения,
Отчасти от горькой обиды, а более сгоряча.

Но, подоспев, другие Черному крутят руки,
Такие крепкие парни – они медведя сомнут —
И, несмотря на силу и все одесские шутики,
Черный надежно связан в каких-нибудь пять минут.

«Крепко ж вас откормили даровыми пайками!»
Он с уваженьем смотрит на связавших его.
Он для смеха поводит скрученными руками,
Но эти грозные жесты не трогают никого.

Никто на него не смотрит, как будто на целом
свете
Только одно глухое похрустыванье шагов.
Колонна идет в молчанье сквозь перекрестный
ветер.
И крыши первых бараков встают посреди снегов.

* * *

В эту минуту Черный, закутанный в полушубок,
Ругаясь, брел по лагпункту. Кругом – как в аду

темно,

Снег летит, как из пушки. Черный добрел до клуба,
Свернул налево и стукнул в заснеженное окно.

В пристроечке рядом с клубом, в симпатичном
куточке

О два окна с печуркой скоро уж год как жил
Лагерный живописец, Яков Якович Точкин,
С большим котом Еврипидом, с коим оный дружил.

Як Якыч был богомазом, всю жизнь он писал иконы
Возрастом не моложе, чем пятнадцатый век.

Издравле в Марьиной роще на этом деле исконном
Имел отличную прибыль усидчивый человек.

В доброе старое время все сходило прекрасно,
Як Якыч жил содержимым купеческих кошельков.
Потом купцы испарились, а он яичною краской
Все так же писал Иисусов, апостолов, ангелков.

Но рынок сбыта сужался (музеи – их не обманешь).
Иконы лежали годами... Як Якыч придумал плант,
По коему можно быстро изжить пустоту в кармане
И не оставлять втуне свой природный талант.

Он стал рисовать червонцы: купюры по пять и десять,
Но если за фальшь в иконах бывал в старину он бит,
То нынче за фальшь в червонцах давали по пять
и десять;

Як Якыч влип и поехал осваивать новый быт.

Едва он успел приехать, как Волков его вызывает
И говорит: «Художник? Як Якыч глаголет: «Да».
«Портреты писал с натуры?» Як Якыч ему называет
Всех святых, что писал он. А портрет – ерунда!

Портрет кто хочешь напишет! Волков, услышав это,
Ему говорит: «Художник, все создам для тебя,
С лучших моих рабочих будешь писать портреты,
С одним условием: чтоб каждый мог узнавать себя».

Дал ему Волков краски, кисти, холст, помещенье,
Достал с большими трудами уголь, масло и мел:
И Як Якыч назавтра с некоторым смущеньем
Первого клиента написал, как умел.

Правда, тот возмущался своим пророкоподобным
И вместе ангельским видом и пробовал говорить,
Что все же он бывший жулик и его неудобно
Писать ангелком, как будто он прошлое хочет
скрыть, —

Но это были придирки, портрет получился отменный,
С того момента Як Якыч на холстах написал
Десятки героев лагпункта; ударников, рекордсменов.
Почетная галерея глядела на клубный зал

Своими, по большей части, голубыми глазами;
Як Якыч любил голубое, но, собственно говоря,

Он в этом мало повинен, – его заказчики сами
Просили: «Сваргань поярче, чтобы не было сентября!»

Ошеломив клиента пронизывающим взглядом,
Одно из трех за основу брал вдохновенный кустарь:
Батальный портрет – суровый, статский портрет —
с парадом,
Грустный портрет – с мечтаньем, так, как писали
встарь.

И писал сообразно, в трех различных манерах,
Писал сурово и честно, иконы почти забыл.
Однажды лишь, не сдержавшись, старого инженера
Сделал под Саваофа, уж очень похож он был.

Когда появился Черный, Як Якыч сказал:
«Батальный!»
Не входя в объяснения, вытащил пук кистей,
Свою большую политру, и на холст моментально
Лег славный облик героя во всей его красоте.

Сверх белой масляной краски на щеках он вывел розы,
Приклеил над каждым глазом дугой смоляную
бровь,
Поставил героя в позу, чтоб получилось грозно,
Чтоб в жилах играла кровь!

Глаза написал лазурью, нежным берлинским цветом.
Левый глаз не удался: в глазе печаль и мгла-с!

Зато подобен комете, бесподобен и светел
Правый геройский глаз.

Потом написал он плечи: расправь их – упрутся
в тучи,
Согни их втрое – не спрячешь. И ото всей души
Черный бормочет: «Лучше, еще два мазочка, лучше,
Пиши, дорогой, пиши!»

А в сущности он взволнован уже не самим портретом,
Портрет в его представленье почти висит на стене.
«И где он будет повешен, и скоро ли будет это,
Вот, дорогой художник, что интересно мне!»

Як Якыч ему методично ответил по каждому
пункту:
Что повесят, что скоро, что в клубе, что это факт.
И Черный пошел, довольный, в клубный театр
лагпункта,
Где только что все затихло и начался третий акт.

Главный герой на сцене в роль вошел моментально,
Воры с неподдельным чувством играли себя самих.
Автор, как все блатные, немножко сентиментальный,
Умел добраться до сердца таких же, как он,
блатных.

Герой, под влияньем любимой бросивший блат
навсегда,

Работает на заводе, где она секретарь.
Злодей – кулацкий сыночек – крадет бумаги
и чеки,
С расчетом, что бывшего вора заподозрят, как встарь.

Зал обижен за вора, в зале не дышат даже...
Герой, ничего не зная, приводит своих корешков,
Он им рекомендует тотчас же бросить кражи
И, по его примеру, честно встать у станков.

Но герой заподозрен. Приезжает угрозыск.
Герою с его друзьями грозит арест и тюрьма.
Друзья при виде агентов кричат герою с угрозой:
«Ты нас завел в ловушку!» – а в зале сходят с ума.

В зале столпотворенье достигает предела,
Иоська вскочив со стула, кричит герою: «Скажись,
Скажись им, Коля, в чем дело!» И тот говорит,
в чем дело,
И приходит развязка и счастливая жизнь.

В зале вздох облегченья, в зале – за добродетель:
Пускай у слепой фортуны не плутуют весы!
Зал заметно растроган, вору рыдают, как дети,
И нежные девичьи слезы капаят на усы.

1933–1937

ДОМ

1

Тяжкий запах добра смешан с вонью эфира.
Мир завешен гардиной, и прочная мгла
От сотворенья мира
Стоит в четырех углах.
Оно создавалось не сразу, надежное здешнее
счастье.
Оно начиналось с дощечки: «Прием с двух
до десяти».
Здесь продавалась помощь, рознятая на части:
От висмута – до сальварсана
От целкового – до десяти.
И люди дурно болели, и дом обрастал вещами.
Он распухал, как лягушка, опившаяся водой.
Скрипела кровать ночами,
И между обедом и чаем
В новый рояль, скучая,
Стучали по среднему «до».
Так с большими трудами, с помощью провиденья
Была создана симметрия, прочный семейный
квадрат.
Здесь вещи стоили денег
И дети стоили денег,

Не считая моральных затрат.

Над городом грохнула осень, но врач затворил окошко.

Приделал на дверь четыре давно припасенных замка.

Припрятал столовые ложки,

Котик сменил на кошку

И высморкался без платка.

Он брал за визиты натурой: шубами и часами,

Старыми орденами, воблою и мукой,

Он прятал и ел глазами,

И умные вещи сами

Ластились под рукой.

Он долго жил как властитель,

Он хвастал, что сто миллионов

Войн и переворотов

Дверь не откроют в дом.

Сын станет опорой трона,

А дочь...

Но гадкий утенок,

Чтоб он, не родившись, сдох!

Так часто бывает: в доме,

Пропахшем столетним хламом,

Растет молчаливый ребенок,

Чуждый отцовской лжи.

Девчонка рвалась из дома

И бредила океаном.

Ей племя пыльных диванов

Мешало дышать и жить.

Она подросла и стала девушкой первого сорта.
А мир изменился – грохочут дальние поезда,
Она решила уехать,
Понюхать соленого пота,
Лучше куда угодно,
Чем обратно – сюда!
Отец обругал наше время,
Отец был кряжистым дубом.
Он проклял меня, который дал руку ей, чтоб уйти.
Он даже попробовал спорить,
Но я показал ему зубы.
Он съежился
И пропустил.

2

Так я с собой на север привез хорошего друга.
Мы спали на жестких досках
И ели неважный хлеб.
Да, жить приходилось туго,
Паршивый, холодный угол.
Но мы сговорились друг с другом,
Что счастье не в барахле.
Она училась работать, молча и спотыкаясь,
Упрямая, как ребенок, пробующий ходить.
Девчонка так исхудала, что, взяв большими
руками

Ее, как больную птицу,
Я согревал на груди.
Я начал видеть всю правду,
Да видно, что поздно начал.
Ей с детства кутали шейку,
А здесь мороз и вода,
Я знал, что девчонка плачет,
Но я не видал, как плачет,
А это не значит – плачет,
Раз никто не видал.
Я почернел от горя, когда она умирала.
Я проклял себя, который взял и не уберег.
Эх, если бы смерть как взятку
Мои потроха забрала,
Я б сунул ей взятку в зубы —
Черт с ней, пускай берет!
И вот я стоял, как наследник,
Над худеньким мертвым телом,
Я мог говорить с собою и мог кричать в потолок,
Я мог, наконец, как собака (кому до этого дело?),
Страшно завывать по хозяйке,
Скорчившись под столом...
На память остались вещи.
Но я вещей не боялся.
Кто сиротел – тот знает, как можно с вещами
дружить.
Я ушел из поселка
И долго работал и шлялся,
Каждый по-своему лечит свою захворавшую жизнь.

Прошло, наверно, три года, и черт меня дернул
приехать.

Я много страдал, я думал – меня не узнать
в лицо...

И встретился на тротуаре с глухим деревянным
смехом,

С хитрым стуком подметок —

Словом, с ее отцом.

Он постарел и согнулся, но видел еще отлично.

Он встал поперек дороги, и на его лице

Выстроились в порядке все чувства, коим
прилично

Быть в удрученном отце.

Я был благородным жестом введен в его старую
крепость.

Дом разрушался. Глухо, по-старчески били часы.

Дочь его, как живая, глядела с большого портрета,

На кончике стула, как мертвый,

Сидел единственный сын.

Старик рассуждал о прошлом,

Он где-то выведал даже,

Как плохо мы пили и ели,

Как нам жилось и спалось.

Чем я становился суше,

Тем он умильней и глаже.
И было мне непонятно, что на него нашло.
Тогда я вспомнил про сына:
«Так вот причина радушью!
Пусть я расскажу побольше,
Пусть сын разглядит порок.
– Гляди на него и бойся продать ему свою душу,
Гляди на него и бойся переступить порог!»
И сын молчал и боялся.
Я встал и надвинул шапку.
Девчонка мне улыбалась так, что больно смотреть.
Я вспомнил ее живую
И сгреб со стены в охапку:
«Довольно!
Какого черта висит здесь ее портрет?»
Только у самой двери
Я поглядел на сына:
И этот унылый заморыш – брат своей сестры?
О, будь в нем хоть капля жизни,
Я б разогнул ему спину.
Я б вывел его из дому
И дверь бы за ним закрыл.
Но дверь наотрез замкнулась.
Дом заскрипел
И замер.
На лестнице пыль и темень, я долго искал огня.
И сверху раздался топот,
И вновь загремели замками.
Нет, я ошибся в мальчишке – он догонял меня!

Сейчас наш поезд трясется
Где-то под Кустанаем...
Мальчишка уснул на полке.
А я вспоминаю отца:
Он скоро умрет от удушья,
И дом четырьмя стенами
Сомкнется и с грохотом рухнет
На труп своего творца.

1935

РАССКАЗ О СПРЯТАННОМ ОРУЖИИ

Им пятый день давали есть
Соленую треску.
Тюремный повар вырезал
Им лучшие куски —
На ужин, завтрак и обед
По жирному куску
Отборной, розовой, насквозь
Просоленной трески.
Начальник клялся, что стократ
Сытнее всех его солдат
Два красных арестанта
В его тюрьме едят.
А если им нужна вода,
То это блажь и ерунда:
Пускай в окно на дождик,
Разиня рот глядят.

Они валялись на полу,
Холодном и пустом.
Две одиночки дали им,
Двоим на всю тюрьму,
Чтоб в одиночестве они
Припомнили о том,

Известном только им двоим
И больше никому...
А чтоб помочь им вспоминать,
Пришлось топтать их и пинать,
По спинам их гуляли
Дубинки и ремни,
К ним возвращалась память, но
Они не вспомнили одно:
Где спрятано оружие —
Не вспомнили они.

Однажды старшего из них
Под вечер взял конвой.
Он шел сквозь двор и жадным ртом
Пытался дождь глотать.
Но мелкий дождик пролетал,
Крутясь над головой,
И пересохший рот не мог
Ни капельки поймать.
Его втолкнули в кабинет.
— Ну как, припомнил или нет? —
Спросил его начальник.
А посреди стола,
Зовя его ответить «да»,
Стояла свежая вода
За ледяною стенкой
Вспотевшего стекла.

Сухие губы облизав,
Он выговорил: – Да,
Я вспомнил. Где-то под землей
Его зарыли мы,
Одно не помню только: где? —
А чертова вода
Над ним смеялась со стола
Начальника тюрьмы.
Начальник, прекратив допрос,
Ему стакан воды поднес
К сухим губам вплотную
И... выплеснул в окно!
– Забыл? Но через пять минут
Сюда другого приведут.
Не ты, так твой товарищ
Припомнит все равно!

Начальник вышел. Арестант
Услышал скрип дверной,
И в дверь ввалился тот, другой,
Оковами звеня.
Со стоном прислонясь к стене
Распухшею спиной,
Он прошептал: – Я не могу...
Они ведь бьют меня...
Я скоро сдамся, и тогда
Язык мой сам подскажет «да»...
Я знаю: в сером доме,
В подвале, в глубине...

– Молчи! – Еще молчу... пока... —
А двери скрипнули слегка,
И в них вошел начальник:
– Ну, кто ж расскажет мне?

И старший арестант шепнул
С усмешкою кривой:
– Черт с ним, с оружием! Все равно
Дела к концу идут.
Я все скажу вам, но пускай
Сначала ваш конвой
Того, другого, уведет:
Он будет лишним тут. —
Солдаты, отодрав с земли
Того, другого, унесли,
Локтями молча тыча
В его кричащий рот.
Тот ничего не понял, но
Кричал и рвался; все равно
Он знал, что снова будут
Бить в ребра и в живот.

– Кричит! – заметил арестант
И, побледнев едва,
За все, что выдаст, попросил
Себе награды три:
Стакан воды сейчас же – раз,
Свободу завтра – два,
И сделать так, чтоб тот, другой,

Молчал об этом – три.
Начальник рассмеялся: – Мы
Его не пустим из тюрьмы.
И, слово кабальеро,
Что завтра к двум часам...

– Нет, я хочу не в два, не в час —
Пускай он замолчит сейчас!
Я на слово не верю, я должен видеть сам. —
Начальник твердою рукой
Придвинул телефон:
– Алло! Сейчас же номер семь
Отправить в карцер, но

Весьма возможно, что бежать
Пытаться будет он...
Тогда стреляйте так, чтоб я
Видал через окно... —
Он с маху бросил трубку: – Ну? —
И арестант побрел к окну
И толстую решетку
Тряхнул одной рукой.
Тюремный двор и гол и пуст,
Торчит какой-то жалкий куст,
А через двор понуро
Плетется тот, другой.

Конвой отстал на пять шагов.
Настала тишина.

Уже винтовки поднялись,
А тот бредет сквозь двор...
Раздался залп. И арестант
Отпрянул от окна:
– Вам про оружие рассказать,
Не правда ли, сеньор?
Мы спрятали его давно.
Мы двое знали, где оно.
Товарищ мог бы выдать
Под пыткой палачу.

Ему, который мог сказать,
Мне удалось язык связать.
Он умер и не скажет.
Я жив, и я молчу!

1936

ГЕНЕРАЛ

Памяти Мате Залки

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был —
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,

Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?

Чтоб драться за каждую пядь,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.